

ТЕНИ ПРОШЛОГО

О, ты, последняя любовь,—
Блаженство ты и безнадежность![†]
Ф. Тютчев

В самом конце мая 1894 года в г. Барнаул, где я в то время жил, приехал Николай Михайлович Ядринцев в роли заведующего только что налаживавшегося мною статистико-экономического обследования крестьянского и инородческого населения Алтайского округа*. Здесь я впервые с ним встретился, хотя в переписке и состоял несколько уже лет, как сотрудник издававшегося им «Восточного обозрения» — органа сибирского областничества.

Николай Михайлович приехал не один: его сопровождал молодой врач-статистик П. Г. Сущинский и два студента-сибиряка. Предполагалось, что все они примут участие в предстоящих статистических работах. Как я узнал впоследствии, вместе с ними из Петербурга выехало и еще одно лицо, сыгравшее большую роль в последние дни жизни Николая Михайловича, — женщина-врач Боголюбская, получившая при участии Ядринцева место сельского участкового врача в с. Повалихе Барнаульского уезда; от Томска она поехала на пароходе, почему в Барнауле появилась на несколько дней позже Николая Михайловича, ехавшего на лошадях.

В Барнауле Ядринцев остановился у своего старого знакомого, бывшего политического ссыльного шестидесятих годов, в последнее время иногда упоминаемого в связи с процессом Н. Г. Чернышевского, вернее, с эпизодом печатания приписывавшегося ему воззвания «К барским крестьянам», — Якова Сулина, управлявшего делами одной местной коммерческой фирмы.

Свиделись мы с ним в тот же день: вечером он вместе с доктором Сущинским приехал ко мне на дачу. Встреча у нас была радушная, как старых добрых знакомых. Не скажу, впрочем, чтобы мои первые впечатления от Николая Михайловича были вполне благоприятными: при всей внешней привлекательности, сразу располагавшей к нему, у него была одна черта, на первых порах неприятно бросающаяся в глаза, но затем быстро изглаживавшаяся и как-то забывавшаяся. Я говорю о том уклоне, который можно было принять за известную склонность к фатоватости, правда, чисто внешней, тем не менее досадной.

Н. М. Ядринцев обладал очень живым, подвижным характером. Общительный и остроумный, часто едкий, он умел создавать вокруг себя много движения, оживления. Невысокого роста, тон-

* Необходимо оговориться. Алтайская статистика того времени по обследованию народной жизни Алтайского округа была организована его главным управлением не только по моей инициативе, но мною непосредственно. Тем не менее я, как политический ссыльный, состоящий под надзором полиции, не мог официально выступать в качестве ее руководителя: обязанности заведующего должен был нести на себе кто-то другой. И первым таким заведующим был Н. М. Ядринцев (примеч. автора).

кий и стройный, хорошо одетый, всегда чем-то возбужденный, взбудораженный,— таково, в целом, полученное мною от него впечатление, сохранившееся на всю жизнь. Таково оно было и от первой встречи. Как-то не хотелось верить, что перед вами, в сущности, старик,— это просто не замечалось, стушевывалось его активностью и отзывчивостью. В нем живо чувствовалась если не молодость, о которой было бы странно и говорить, то присутствие той душевной бодрости и свежести, которая стоит иной молодости. Но рядом со всем этим выступала и та черта, о которой я упомянул выше. Галстуки, я бы сказал, были слабым местом Николая Михайловича: каждый день, а то и на день два-три раза — новый галстук, всегда пышный, с каким-нибудь необычным узлом, невольно останавливающим на себе внимание; из бокового карманчика пиджака кокетливо высовывающийся кончик белого или шелкового цветного платка, в сущности, совершенно не нужного и им не употреблявшегося; свежие изящные перчатки, духи, как-то особенно, молодо сидящая на пушистых седых волосах светло-серая пуховая шляпа,— все это вместе взятое создавало определенное, далеко не благоприятное для Николая Михайловича впечатление, покрывало всю его фигуру, такую изящную и гибкую, тонким налетом фатоватости — и это отталкивало.

Но это было лишь первое, скоро проходящее впечатление. Остроумие, живость, яркость всей личности Николая Михайловича очень быстро его почти без остатка стирали. Но во мне оно все же оставило досадное чувство. Для меня в то время Н. М. Ядринцев был не только известный публицист, талантливый журналист и едкий, остроумный фельетонист, но и один из крупнейших общественных деятелей Сибири (к которой я тогда уже крепко привязался сердцем), с хорошим прошлым, ее испытанный пламенный борец, один из ее признанных вождей, наиболее яркий и блестящий. Поэтому каждая мелочь, сама по себе, может быть, и совершенно ничтожная, останавливала на себе внимание, какого по отношению кого-нибудь другого ничто и не возбуждало бы.

Почти с первых же слов у нас разговор перешел на предстоящие работы, во главе которых должен был стать Николай Михайлович. Когда я ему сообщил, что все подготовительные действия уже выполнены и что мы ожидали только его приезда, Ядринцев меня со смехом перебил довольно неожиданным заявлением:

— Да вы, батенька, кажется, и в самом деле думаете, что я намерен напялить на себя ваш статистический хомут и тащить вместе с вами затеянную вами машину? Нет, Сергей Порфирьевич, шалите! — воскликнул он с большим воодушевлением. — Нет, на меня не рассчитывайте, я сюда не затем приехал!

Сказано это было веселым, полушутливым тоном, но вместе с тем и достаточно решительным, чтобы не принять за шутку.

Доктор Сущинский, молодой человек, о котором можно сказать словами Некрасова, что это «рослый был детина, рослый человек», приехавший на Алтай, как он мне потом сам говорил, с

целью производства опыта — возможно ли поднять крестьян на восстание, широко улыбался, видя мое недоумение, а пожалуй, и растерянность. Очевидно, заявление Ядринцева для него не было чем-то неожиданным.

— Я вас не понимаю, Николай Михайлович, — взволнованно отвечал я.

— Я и вижу, что не понимаете, — возразил Ядринцев на этот раз уже совершенно серьезным, «деловым» тоном. Он встал, переставил стул против меня и пересел, почти вплотную придвинувшись ко мне. — Да разве Василий Ксенофонович* вам ничего не говорил, на каких условиях я поехал сюда для заведования статистическими работами? — спросил он.

— Нет, ничего не говорил, и я не понимаю, в чем дело.

— Странно... В таком случае мне придется самому сказать вам и сделать это теперь же, потому что мне необходимо знать ваше мнение и ваше отношение к предложенным мною и принятым Василием Ксенофоновичем условиям.

Он встал, прошелся по комнате и снова сел против меня, намереваясь, по-видимому, вести долгий разговор. Ближе к нам подсел и Сущинский.

— Будем говорить прямо и откровенно, — начал Николай Михайлович, — и вас я прошу также быть со мною вполне искренним. Вы знаете, что мне при моих работах пришлось достаточно познакомиться с сибирской статистикой, — знаете, конечно, и мое отношение к ней. И тем не менее для меня статистика всегда была и остается делом довольно посторонним. И я никогда бы не взял на себя заведование статистическими исследованиями народной жизни при обычных условиях, потому что это, прежде всего, отвлекало бы меня от моих прямых занятий. И когда Василием Ксенофоновичем было сделано мне предложение взять на себя заведование алтайскими статистическими работами, вначале я категорически отказался. И только впоследствии, когда мне было выяснено подробно положение дел здесь, я изменил свое первоначальное решение и принял на себя обязанности, вернее, роль заведующего статистическими работами, вот почему и на каких условиях. Выслушайте меня. Вы — статистик, ведете уже не первый год статистические работы в Сибири и здесь, на Алтае. Вы знаете дело и любите его, вы затеяли обследование Алтая — вы его должны вести. Вам удалось здесь провести дело, перед которым мы, сибиряки, должны были отступить**. Мы это оцениваем

* В. К. Болдырев — начальник Алтайского округа, прошедший «в сферах» вопрос об алтайской статистике и подворном обследовании всего Алтайского округа. Он вел с Н. М. Ядринцевым все переговоры лично, будучи в Петрограде. Мне он почему-то не сказал о характере состоявшегося между ними соглашения (примеч. автора).

** Министерство Двора ранее и слышать не хотело ни о какой статистике на Алтае, «на землях его величества». Народный календарь Я. В. Абрамова был запрещен только потому, что в нем С. Л. Чудновский поместил некоторые статистические данные о положении сельского населения в Алтайском округе (примеч. автора).

и не можем не дорожить представляющейся возможностью действительного ознакомления с положением крестьянства в лучшей части Сибири, но не менее дорожим и другим: возможностью приподнять хоть часть той завесы, за которою скрывается кабинетское управление краем, со всем его грабежом и насилиями. При исследовании, сколько-нибудь широко поставленном, это неизбежно вскрыется, и, повторяя, мы этим не можем не дорожить. Мы, сибиряки, знаем вас и пристально следим за вами. Мы знаем, что вы не только интересуетесь Сибирью, но любите ее и работаете для нее, как дай бог работать и сибиряку. Мы не только знаем вас, но и верим вам. Я говорю о себе, Григории Николаевиче (Потанине) и некоторых наших друзьях. Но вам работать мешают, потому что вам не доверяет правительство, видящее в вас прежде всего политического ссыльного и поднадзорного. Оно, с своей точки зрения, может быть, и право, хорошо уже и то, что оно не вовсе препятствует вам работать. Но это его дело. А дело наше: сбздать условия, при которых вы могли бы работать, по возможности, никем не стесняемый, могли бы развернуться. И, принимая предложение Василия Ксенофонтовича, я это и делаю. Я беру на себя, как заведующего, всю официальную сторону, так сказать, все представительство по делам алтайской статистики, а вы — всю работу по самым исследованиям, и в эту область я вмешиваться не намерен. Только на этих условиях я и принял заведование вашими работами. Я думал, что Василий Ксенофонтович все это вам передал и что вы согласны на такую комбинацию, иначе я из Петербурга и не поехал бы. Вот почему я и сказал, что ваш хомут надевать на себя не намереваюсь. Вот я привез вам Петра Гавриловича, — указал он на доктора Сущинского, — привез двух студентов-сибиряков, зная, что вам работники понадобятся; найдете их подходящими — они останутся на лето у вас, нет — я им найду другое применение. Собрал вам в Петербурге кое-какие книжки, программы земских исследований и другой различный материал. Вообще сделал кой-что, что находил необходимым и возможным, чтобы помочь вам и облегчить ваше положение, которое не может быть особенно легким.

Все это Ядринцев высказал искренним тоном, горячо, убежденно. Я слушал с изумлением, — так все это было неожиданно, необычно, ново для меня. Пока говорил Николай Михайлович, доктор Сущинский молчал, но как только он умолк, Петр Гаврилович начал мне доказывать, что мне нет никаких резонов не соглашаться с Николаем Михайловичем, что, в сущности, я не имею на это даже никакого права и т. п. Возник общий разговор, и мы трое занялись детальным рассмотрением и обсуждением «комбинации» Николая Михайловича, каковая, в конце концов, и была принята всеми единогласно с некоторыми поправками и дополнениями. Сущность соглашения состояла в том, что фактически заведующим работами буду я, а официальным, — «для правительства», как выразился Николай Михайлович, — будет он. На следующий день решили вместе отправиться к В. К. Болдыреву,

чтобы там это соглашение, так сказать, окончательно закрепить.

Николай Михайлович был, по-видимому, очень доволен результатом разговора. Оставаясь у меня до глубокой ночи, он был все время оживлен, сыпал остротами и шутками. В таком настроении я его больше не видел. Беседа велась на самые разнообразные темы: говорили и о политике, и о Сибири, литературе и статистике, петербургских новостях и т. д. Я его спросил, между прочим, поедет ли он с нами на самые работы по подворному обследованию, хотя бы только для «правительства»?

— Нет, не думаю,— быстро ответил он.— Может быть, потом как-нибудь съезжу к вам повидаться, а теперь я хочу забраться в Повалиху и там заняться окончанием своей работы о тюрках, которую я захватил с собою. Займусь и литературой. Хотелось бы и отдохнуть немного.

Говорил это Николай Михайлович тоном, каким говорят о чем-то весьма приятном, может быть, долгожданном. Меня это несколько удивило: стоит ли Повалиха — притрактовое селение в 20 верстах от города, ничем решительно не замечательное, — чтобы о ней говорить *так*? Но в ту минуту я как-то не остановился мыслью на этом и только впоследствии, не раз вспоминая этот вечер, я понял и тон Николая Михайловича, и самый смысл того, что за этим тоном скрывалось... Его влекла к себе не Повалиха, а глубокое и сильное чувство, каким он охвачен был к Боголюбской, которая должна была поселиться в ней, чувство, увлекшее Николая Михайловича гораздо дальше, чем он, вероятно, думал...

Проводив ночью Николая Михайловича, я еще долго оставался под впечатлением вечера и всех разговоров, в целом оставивших по себе яркий след. Мысль невольно бежала вперед, к тем делам и работам, которые мы надумали в этот вечер с Николаем Михайловичем «обламывать» вместе в Барнауле в интересах Сибири. Чувствовалось так легко и бодро, впереди раскрывались широкие горизонты и ясно намечались далекие перспективы. В ту минуту и в голову, конечно, не приходило, что только что оставивший меня Николай Михайлович, такой оживленный и воодушевленный, уже обречен, обвеван холодным дыханием смерти, успевшей запустить свое ядовитое жало в самое сердце его, такое горячее, такое отзывчивое, так сильно бьющееся всегда, когда дело касается родины, одним из лучших сынов которой он, несомненно, был!..

В ближайшие дни я находился в той статистической сутолоке и хлопотах, какие всегда предшествуют началу работ и выезду статистиков на перепись: разные совещания и заседания, обсуждения программ и инструкций, переговоры с приглашаемыми сотрудниками типографии, хозяйственные разные работы и т. д., и т. п., с утра и до вечера. Неудивительно, что мне было не до наблюдений и что я не знал многого, что происходит тут же, в окружающей среде, но вне круга тех специальных интересов, в области которых в те дни я вращался и которыми целиком был

поглощен. Между прочим, ничего не знал о приезде Боголюбской в Барнаул, где она остановилась. Самое имя ее, слышанное мною мельком, не остановило на себе моего внимания и очень быстро совершенно улетучилось из моей памяти. Между тем вокруг него разворачивались события, очень скоро повлекшие за собой роковые последствия.

У Н. М. Ядринцева мне не пришлось ни разу быть, и я не видел его в домашней обстановке, в более тесном кругу его близких знакомых, и этим отчасти нужно объяснить, что Боголюбской я ни разу нигде не встретил. Я не торопился быть у него, потому что он жил у Я. А. Сулина, быть в квартире которого мне не доставляло никакого удовольствия, т. к. я и мои товарищи по ссылке относились к нему, бывшему революционеру и политическому ссыльному, а теперь управляющему винокуренного дела и организатору знаменитой стачки виноторговцев всей губернии, как к политическому ренегату. Ядринцев это знал от меня и не претендовал на мои к нему визиты при данных условиях. Встречались же мы с ним по несколько раз в день, то на каком-нибудь совещании, то у кого-либо из знакомых. У меня он проводил обыкновенно вечера, приезжал чаще всего очень поздно, и мы проводили с ним за разговорами ночи, иногда расходясь, когда уже солнце высоко стояло. Эти ночные беседы как-то удивительно сближали и в то же время все больше возбуждали во мне интерес к Николаю Михайловичу, который, ко всему прочему, был увлекательный собеседник, — нам же поговорить было о чем.

Но теперь Николай Михайлович выглядел далеко не тем, каким я видел его в первый день приезда. Он как-то подтянулся весь, черты лица еще более обострились. Во всем чувствовалась какая-то нервность и напряженность. Остроумен он был по-прежнему, но теперь его речь была более желчной и едкой, характеристики — более резки, ядовиты. Он чаще раздражался, больше спорил, легко утрачивал в разговоре спокойствие и ровность тона. Я не знал, чем нужно объяснить изменение настроения Николая Михайловича, как не знал и того, является ли оно обычным для него или вызвано какими-нибудь причинами, для меня неизвестными.

—
В особенно, по-видимому, тяжелом настроении он приехал ко мне поздно вечером 5 июня, застав у меня П. Г. Сущинского. Почти с первых же слов между ними возгорелся горячий спор, темой которого явился какой-то, теперь я уже забыл, какой именно, медицинский вопрос. Ядринцев начал нападать на Сущинского в очень резкой, а потом и запальчивой форме, старался доказать тому, что он в медицине ничего не понимает, да и вообще невежественный человек. Сущинский отпарировал нападения довольно вяло, почти лениво и в форме достаточно мягкой. На меня весь разговор производил тягостное впечатление. Многие в нем было для меня неясного, темного, казалось, что я присутствую при давно начавшемся споре, притом по совершенно другому поводу и при иных обстоятельствах.

— Я бы вам свою собаку не доверил лечить, а не только людей! — вдруг выкрикнул Николай Михайлович, бегая из угла в угол по комнате в сильном волнении.

Сущинский при этих словах лениво поднялся, потянулся и стал прощаться.

— Не буду спорить, — сказал он, обращаясь к Николаю Михайловичу, — но скажу вам, как врач: успокойтесь, Николай Михайлович, прежде всего, а затем серьезно займитесь своим здоровьем.

— Это не ваше дело, — вновь вскипел Николай Михайлович, — я вам уже говорил это и еще раз повторяю: не ваше дело! Слышите?

Сущинский ушел, оставив этот выкрик без возражений.

Николай Михайлович еще долго продолжал ходить по комнате и бранить Сущинского ворчливым тоном. Я ему не возражал, и он понемногу затих, видимо, успокоившись.

Вспышка Николая Михайловича, такая неожиданная, такая безмотивная и сама по себе достаточно нелепая, как-то испортила наше настроение, и у нас долго не налаживался разговор, к каким мы за эти вечера и ночи привыкли, — свободный и непринужденный. Но потом создавшаяся неловкость сама собою сгладилась, и мы вели довольно оживленную беседу на разные темы, уже не помню, какие именно. Понемногу тон речи Николая Михайловича менялся, становясь все искреннее и задушевнее, а сама беседа приобретала более интимный характер.

Было уже далеко за полночь, когда Николай Михайлович вдруг перевел разговор на женщин и любовь. Это опять было так неожиданно, так не связано со всем предыдущим разговором, как и его внезапная вспышка с Сущинским, что с моей стороны не могло не вызвать некоторого недоумения. Но Ядринцев на это не обратил никакого внимания, и речь его текла все в том же искреннем тоне, ставшем лишь несколько грустнее.

Он говорил о русской женщине и том огромном, совершенно исключительном, нигде на Западе не имеющем примера, положении, какое принадлежит ей в развитии нашей страны в последнее время и какое не может не принадлежать ей в будущем.

— Самый тип русской женщины, проникнутый любовью и самоотвержением, величайшим героизмом, но и величайшей скромностью, для Запада чужд, он ему непонятен, он его, если хотите, пугает. Западная женщина — подойдите к ней и взгляните в нее — даже в лучших своих представительницах, в конце концов, только семьянинка, т. е. жена своего мужа и мать своих детей, любящая по-своему и мужа и детей, заботящаяся о них, опять-таки по-своему, об их чисто внешнем я бы сказал, материальном благосостоянии, и остающаяся совершенно чуждой всему тому, чем они, и муж и дети, живут духовно, — это, как будто, даже не ее и дело. Живя всю жизнь в семье, духовно, повторяю, она остается глубоко чуждой ей. Вы нигде на Западе не встретите таких, поистине товарищеских отношений между мужчиной и женщиной,

даже внутри самой семьи — между мужем и женою, какие так обычны у нас в России в интеллигентной среде. Вы, вероятно, и сами встречали жен, которые являются даже не помощниками своим мужьям, понимая это выражение в самом лучшем смысле, а именно товарищами, вполне равноправными им, стоящими на одном с ними уровне. В то время как западная женщина, — воодушевляясь, говорил Ядринцев, — по основным чертам своего характера, по самой сущности своей, по самому положению своему и в семье, и в обществе является самкой — употребляя это выражение, — прибавил он, — не в пошлом смысле, наша интеллигентная женщина прежде всего и больше всего человек. В этом ее глубочайшее, коренное отличие от ее западных сестер. Но в этом ее и величина, и привлекательность.

Слушая Николая Михайловича, я думал о нем самом и его покойной жене Аделаиде Федоровне, умершей за несколько лет перед тем. Я ее не знал лично, но много слышал о ней от знакомых сибиряков. По общим отзывам, это была выдающаяся женщина во многих отношениях. Обладая обширным умом и хорошим развитием, она представляла с Николаем Михайловичем на редкость гармоничную пару, цельную, удивительно дополнявшую друг друга. И Аделаида Федоровна, по отзывам, была именно товарищ, принимавший активное участие во всех его работах, а не только помощница своему мужу. Потеряв ее, он, говорили, духовно глубоко осиротел.

— Наша женщина, — продолжал Николай Михайлович, — и любовь — в самом лучшем, в самом возвышенном смысле — неотделимы, и мое представление о них сливается в одно представление. И когда я смотрю на русскую женщину, я часто думаю о будущей России, России свободной, когда женщину ничто не будет стеснять ни в ее развитии, ни в ее деятельности; возможность какого душевного расцвета, какой невиданной миром душевной красоты таит она в себе!

Николай Михайлович на минуту остановился и задумался, а затем с грустным раздумьем обратился ко мне:

— А вы не обращали внимания на одно странное обстоятельство? В то время, как русская женщина является как бы воплощением любви, самой чистой, возвышенной, полной самоотвержения и готовности к жертве, в ней иногда встречается что-то до такой степени жесткое, твердое, что я ни с чем не могу сравнить, как с камнем. В этих случаях сама любовь становится тяжелой, как могильный камень, тяжелой и холодной. Когда я встречаю таких женщин, мне кажется, что и сердца у них каменные, и сама любовь какая-то нечеловеческая, тугая, жесткая, тоже каменная. Это, поистине, страшные женщины, страшна и любовь их...

Говоря это, Николай Михайлович все время оставался в глубоком раздумье и в то же время приходил в волнение. Видно было, что он коснулся чего-то, что мучительно его трогает, но что и для него самого еще не вполне выяснилось. На мое заме-

чание, что я, кажется, таких женщин не встречал, он живо воскликнул:

— Ваше счастье, Сергей Порфирьевич! — И тут же полез в боковой карман пиджака и вытащил тоненькую ученическую тетрадку, сложенную пополам. Порывшись в ней и найдя нужную ему страничку, обратился ко мне:

— Позвольте прочитать! — И, не дожидаясь моего приглашения, пододвинулся ближе к лампе и начал читать вслух. Это было стихотворение в прозе, занимавшее две — две с половиной странички тетрадки и носившее название «Каменные сердца»*.

Читал Николай Михайлович плохо, но по мере того, как чтение подвигалось вперед, его все более и более охватывало глубокое волнение, а закончил его почти воплем. Он был потрясен собственным чтением, потрясло оно и меня, не столько своим содержанием и формой, сколько проникавшим его страстным чувством. Я теперь не помню его, мне было бы трудно восстановить в памяти его хотя бы в самых общих чертах, — все это время уже без остатка стерло. Но у меня и сейчас еще живо то чувство, то настроение, какое вызвало во мне это чтение «Каменных сердец». Это был мучительный крик истерзанной души, вдребезги разбившейся о встреченное каменное сердце, к которому она неудержимо стремилась, от которого она не могла, а может быть, и не хотела оторваться. Написано стихотворение было очень хорошо, сильно, образно, ярко, но в нем было столько страдания, столько муки душевной, что его трудно было слушать без жуткого чувства.

Я думаю, что его «Каменные сердца» — это самое лучшее, но и самое мучительное, что им было написано.

Мучительно тяжело было не только слушать чтение Николая Михайловича, мучительно было и смотреть на него самого. Я так живо помню его фигуру, в напряженной позе склонившуюся над столом, освещенную лампой: она вся выражала собой страдание и скорбь.

Закончив чтение, Николай Михайлович молча сложил тетрадку, спрятал ее обратно в карман, встал и взялся за шляпу, как бы избегая моего взгляда. И только прощаясь со мною, он грустно посмотрел мне в глаза, слабо несколько подержал мою руку в своей и сказал:

— Каменное сердце — это самое страшное, что я знаю!..

И на этот раз, проотившись с Николаем Михайловичем при восшедшем уже солнце, раздумывая о всем только что происшедшем и слышанном, я меньше всего мог думать, что его провожаю

* Уже после смерти Н. М. Ядринцева было напечатано, если мне не изменяет память, в «Сибирском сборнике» стихотворение Николая Михайловича с тем же заглавием, но я говорю не о нем, а о стихотворении в прозе. В бумагах, оставшихся после Николая Михайловича, мы ни той тетрадки, из которой он мне читал его, ни стихотворения в каком-нибудь другом списке не нашли. Очевидно, перед смертью он или передал ее кому, или уничтожил. Тетрадка, помнится, вся была написана рукою Николая Михайловича (примеч. автора).

в последний раз, что я его уже более никогда не увижу. Так и вошел он навсегда в мою память: взволнованный, страдающий, как бы раненый и истекающий кровью.

На другой день я с Николаем Михайловичем нигде не встретился и как он провел его, я не знал, а рано утром 8 июня ко мне приехал доктор Сущинский с очень озабоченным видом, что так не гармонировало со всей его внешностью.

— Я вам приехал сообщить большую неприятность,— начал он, здороваясь со мною,— вчера вечером захворал Николай Михайлович... Его положение очень серьезно... На выздоровление нет никакой надежды... Он умер!..

— Как умер?! — воскликнул я.

— Отравился опиумом,— отвечал он.

Как ни неожиданно было это сообщение, как ни далек я был от мысли о возможности самоубийства для Ядринцева, тем не менее должен сказать, что сообщение Сущинского не то, что не удивило совсем, а не поразило, оно не показалось мне не только невероятным, но даже и малопонятным, а лишь неожиданным. Очевидно, последний проведенный мною с ним вечер отложил во мне нечто, делавшее его смерть возможной. Это было, конечно, чтение им его «Каменных сердец».

С внешней стороны, как рассказал Сущинский, самоубийство произошло при таких условиях. Накануне, часов в 10 вечера, Сулины прислали за Сущинским, жившим в нескольких шагах от Ядринцева, сообщив, что Николай Михайлович отравился. Тот бросился к ним и тут узнал, что у Николая Михайловича долго в гостях была женщина-врач Боголюбская, бывавшая у него и раньше, между ними произошло крупное объяснение, во время которого Николай Михайлович страшно волновался, а когда она ушла, он остался один в своей комнате и заперся. Но через некоторое время вышел в столовую и сообщил Я. А. Сулину, что только что отравился, выпив такую дозу опия, при которой никакая медицинская помощь не поможет. Сказав это, он опять ушел к себе и лег в постель. Поднялась суета. Послали за Сущинским и лучшим местным врачом А. Н. Недзвецким, жившим также поблизости. Оба врача застали его живым еще. Он был спокоен, не отрицал, что отравился, и не сопротивлялся их попыткам спасти его, обнаруживал ко всему уже полнейшую пассивность. Давалось ему какое-то противоядие, поили его крепким кофе, проделали над ним все то, что в этих случаях проделать требуется медициной, но все было напрасно: Николай Михайлович скончался. Никакой записки после себя не оставил и никому ни слова не сказал о причинах, побудивших покончить с собою.

С внутренней стороны— это была развязка его неудачного мучительно-длинного романа с Боголюбской. Я не буду здесь повторять всего слышанного мною по этому поводу от Сущинского, которому роман был известен еще с Петербурга и который

имел возможность близко наблюдать многие подробности его. Самое раздражение Николая Михайловича против Сущинского, получившее такую резкую и неприятную форму, когда они были у меня в последний раз, было вызвано неудачным вмешательством его в ту область, где никому третьему не может и не должно быть места. Роман не был односторонним для Николая Михайловича, но что-то мешало им обоим вести его в направлении, не приводящем к преждевременной могиле. Николаем Михайловичем он переживался очень тяжело. Он все время находился в состоянии резких колебаний от радужных надежд, когда его охватывало жизнерадостное настроение, до мрачного отчаяния, когда он находился в состоянии неослабевающего раздражения. Он то был готов молиться на Боголюбскую, то отзывался о ней резко и ядовито, не останавливаясь даже перед различными, не имевшими никакого основания подозрениями. В некоторые минуты на Ядринцева, по словам Сущинского, тяжело было смотреть, так мучительно переживал он свой роман, так глубоко и сильно страдал он.

В моих глазах поздний роман Николая Михайловича придавал его личности, колоритной и яркой, новые черты, удивительно привлекательные. В самом деле, сколько нужно душевной бодрости и свежести, молодого порыва, чтобы в его годы пережить все перипетии охватившей его страсти, столь бурной и сильной, что она уничтожила его самого! И устраните эту черту, и облик Ядринцева сразу побледнеет, утратив то, что, может быть, является для него особенно характерным, как потускнел бы и поблек в наших глазах облик И. С. Тургенева и Ф. И. Тютчева, если бы вычеркнуть из их биографии «последнюю любовь», как назвал ее сам Тютчев,— трогательно-грустную у одного и трагически мучительную у другого,— это были бы в наших глазах уже не Тургенев и Тютчев, какими они нам рисуются, какими мы привыкли их представлять себе.

И насколько неожиданно раскрывшийся для меня роман Николая Михайловича был для меня привлекательным, как яркое и сильное выражение его душевной красоты, настолько мне не нравился заключительный аккорд его «последней любви»: Ядринцев, думалось мне тогда, думается и теперь, почти тридцать лет спустя, не *должен* был кончать *так*. Он не мог не знать, какое он имел значение для Сибири, не мог не знать, как смотрела и что ждала от него его родина, которой он отдал лучшие свои силы, он не мог не знать, что заменить его на посту некому. Не должен — да, но, очевидно, не мог иначе, и не нам, его окружавшим тогда, было судить его. Тем не менее, мы решили, что лучше не разглашать в то время всех условий кончины Николая Михайловича, а сообщить, что отравление было случайным, что он по ошибке принял большую дозу опия вместо другого лекарства. Так и сделали.

Я не буду говорить о впечатлении, произведенном на Сибирь и, в частности, на Барнаул смертью Николая Михайловича, и

остановлюсь только на двух-трех эпизодах, для меня особенно памятных.

Когда мы собрались возле покойного, чтобы переложить его со стола в гроб, никто из нас не знал, как это делается, не знали, как нужно приступить к этому тяжелому обряду. Я взял эту операцию на себя: подойдя к столу, я подsunул под тело руки и поднял его, чтобы переложить. Меня поразила легкость тела: точно у меня на руках лежал не труп взрослого человека, а ребенка, так он был легок. И как-то странно было, что в этом почти невесомом теле еще так недавно таилось так много душевной силы и мощи, горело чувство и кипела могучая страсть. Контраст был разительный.

Не могу умолчать и еще об одной детали на самых похоронах, трогательных по глубокому чувству, охватившему провожавших останки Николая Михайловича, а провожал его буквально весь город. Когда гроб уже опустили в могилу и были сказаны все речи, а могильщики начали забрасывать его землю, к могиле приблизилась высокая молодая женщина, вся в черном, в густой черной вуали, совершенно скрывавшей черты ее лица. В руке она держала огромный венок из живой зелени и ярких цветов. Приостановившись на минуту у разверстой еще могилы, она особенным, решительным и сильным жестом взмахнула им в воздухе и бросила в самую могилу, а затем быстро удалилась и затерялась в толпе.

В этой минутной приостановке, в этом необычном сильном взмахе венком было что-то своеобразное и сильное. Это был не жест душевной скорби и отчаяния, но чувствовалась какая-то решительность и жесткость. Таким жестом, вероятно, «сжигают-ся корабли»...

«Каменное сердце!» — невольно мне вспомнились слова Николая Михайловича.

Боголюбская из Барнаула бесследно исчезла, и ее имени я уже потом нигде никогда не встречал.

Только ли «каменное сердце», думается мне теперь?

— Нет, не только! — хочется воскликнуть.

С. Швецов

Воспоминания печатаются по сб. «Утренники», кн. 2, Пг., 1922.

¹ Строка из стихотворения Ф. Тютчева читается: «Ты и блаженство и безнадежность!»

[ЗАВЕЩАНИЕ]

«Восточное обозрение» издавалось в Иркутске первый год. Раньше газета выходила в Петербурге, но когда в Иркутске закрыли «Сибирь», Н. М. Ядринцев перенес газету в Иркутск. Газета в Иркутске сравнительно с Петербургом побледнела. Иркутская цензура графа Игнатьева испортила немало крови Николаю